**Галина Михайлова**

**На улице Пушкина**

На краю тихой улочки Пушкина маленького пригородного поселка стоит береза. Ее посадил мой дедушка. Меня всегда одолевала какая-то необъяснимая любовь к ней. В детстве, когда весной она шумела на ветру сережками, или зимой гнулись ее ветки под шапкой снега, мне нравилось подолгу смотреть на нее, а, бывало, в порыве внезапного чувства обнять ее, как доброго друга.

Так же, как и к березе, я никогда не могла объяснить свои чувства к дедушке. Мы не были с ним близки, не болтали о жизни, не гуляли в парке и не ходили на рыбалку, я не помню, чтобы он дарил мне ласку, обнимал или целовал меня. Дедушка всегда был строг, внешне холоден, вызывая своим появлением трепет и благоговение во мне. И если бы я случайно не узнала, что это он своим словом дал мне жизнь, остановив принятое в отчаянии решение мамы, тайна моих чувств к нему так и осталась бы тайной.

«Рожай, вырастим», - сказал он, казалось бы, два простых слова, но как они способны повернуть русло жизни. В младенчестве я росла в доме дедушки, и иногда, когда бабушке нужно было отлучиться, он нянчил меня. Он, бывало, засыпал на своей тахте, а я ползала по нему, собирая и консервируя свои детские, еще неосознанные чувства и впечатления, словно зная наверняка, что придется очень часто вскрывать эту банку, наполненную до краев любовью, уже в зрелом возрасте, и бережливо расходовать ее содержимое.

Странно, но мы почти никогда не праздновали день рождения дедушки, и уже намного позже я узнала, что он родился в тот же день, что и Александр Сергеевич Пушкин, только в другом году. К этой дате мы каждый год в школе учили стихи классика, рассказывали их, стоя у доски, а дедушку, к стыду признаться, даже не поздравляли.

Он не любил особого внимания к своей персоне, и все же однажды мы устроили праздник в его честь. Лето в тот год выдалось ранним и жарким, пионы в вазе одурманивали сладкими ароматами, туда-сюда сновали взволнованные женщины с яствами, а мы с двоюродной сестрой, пробираясь сквозь них, украшали комнату большими вырезанными из бумаги и нанизанными на ниточку буквами, выкрашенными в радужный цвет.

И в каждой из них – любовь.

Как-то раз дедушка сказал, что я его любимая внучка. Я тогда жутко обрадовалась, хотя, должно быть, это неправильно – чувствовать свое превосходство перед всеми четырьмя внуками и гордиться этим. Но для меня это было важно.

Это случилось в больничной палате, где я лежала с переломом ноги. Июль вовсю врывался в окна, удушая своими тяжелыми запахами и изнуряющей жарой, а я была прикована к койке, потому что перелом был непростой, со смещением и раздроблением костей. Мою ногу в двух местах продырявили спицами и подвесили на них грузик, который болтался с обратной стороны спинки кровати. В общем, далеко не убежишь.

Дедушка пришел под вечер, встал в дверном проеме, непривычно сгорбленный и как будто виноватый. Мне стало его жалко и, наверное, впервые захотелось обнять. Когда он входил в палату, споткнулся о порог и упал, опрокинув тряпичную сумку, из которой по всему полу рассыпались абрикосы. Я инстинктивно дернулась с места – помочь ему, но тут же почувствовала ноющую боль в ноге и заскулила от досады.

Дедушка, не поднимаясь с колен, заплакал:

- Это я виноват! Я разрешил тебе привязать тарзанку к березе.

- Ты что! – я тоже разревелась. – Просто веревка была старая, вот и перетерлась. Ты не виноват!

- Я спилю эту березу! – прохрипел дедушка.

- Нет, пожалуйста, не надо! Не делай этого! Это моя любимая береза, - умоляла я. – Деда, я люблю тебя!

Он украдкой вытер слезы и мне запретил плакать:

- На вот, я еще мороженое купил. Правда, оно уже растаяло.

Спустя полгода он умер. Я думаю, он стал ангелом, и в минуты отчаяния часто слышу его голос. Тогда я открываю свою тайную баночку счастья, выпуская наружу никому не слышимый аромат, и долго-долго дышу им, водя пальцами по краешкам, где запекся сладкий мед детства. Или еду в его старенький дом, где все дышит памятью о нем.

На нашей улице Пушкина самая красивая береза. Каждый раз, сворачивая с большой дороги в проулок, издалека завидев ее, чувствую знакомый трепет сердца и улыбаюсь.

Хорошо, что дедушка тогда ее так и не спилил.

Навстречу жизни

Галина Михайлова

- Катерина… Катя…, - Иван открыл глаза, но тут же зажмурился от невыносимой боли. Он провел языком по пересохшим губам и почувствовал во рту медный привкус. – Катенька, только дождись меня, - прохрипел он.

В следующую секунду Иван снова потерял сознание.

Когда в сорок первом началась всеобщая мобилизация мужчин на фронт, он одним из первых явился в сельсовет.

- Горбушин Иван Фролович, - отрапортовал он, едва дождавшись своей очереди.

Фамилия ему досталась от бабки. Женщины в его роду жили долго, вот и она, уже одной ногой на погосте, а все же ходила, сгорбленная, по селу туда-сюда, а то согнется в три погибели и дремлет, носом клюет, того и гляди упадет. Так ее местные и прозвали – «горбуша». «Чьи вы, ребятишки?» - окликнет прохожий играющего с сестрами Ваньку. «Горбушины мы», - отзовутся дети. Так и привязалась кличка, а когда сельский народ стали наделять фамилиями, тут уж долго не думали.

- Горбушин, - повторил председатель сельсовета, почесав затылок. - Повестку получал?

- Нет, не прислали.

- Не положено, Иван Фролович, - тот развел руками. – Ты какого года будешь?

- Третьего.

- Ну!

- Что ну?

- Призывают с пятого по восемнадцатый, - председатель ткнул пальцем в бумагу.

- Ишь ты! – хмыкнул Иван. – С пятого, значит.

- Старый ты уже. Да и отдал ты уже свое на «финке».

Иван поежился. Он не любил вспоминать о русско-финской войне, с которой вернулся совсем недавно. Каждый раз, когда в памяти всплывали заснеженные окопы, где от холода перестаешь чувствовать пальцы ног в сапогах, а руки примерзают к ружью так, что хоть с кровью дери, его пронзал непроизвольный озноб. А, может быть, вовсе не с холодом были связаны те ощущения. Сколько людей полегло в этой бессмысленной войне!

- Давай, не юли, пиши, раз сказал, - отрезал Иван. – Добровольцем пойду.

- Да ты хоть Катерину пожалей, детей, коли себя не жалко. Ведь не призывают же.

- За бабскую юбку прятаться? – Иван сжал кулаки. - Отец меня не этому учил.

Дома он остриг волосы наголо, попрощался с детьми, у него их было немало: Алексей, Прасковья, Мария, Александр, Василий, у которого еще была двойняшка Тонюшка, умершая от дифтерии, и меньшая, годовалая Тамара, - крепко поцеловал жену Катерину и настрого запретил матери обижать ее.

Жена у Ивана была редкой красавицей, он ее выкрал в другом селе и тайком привел в свой дом задними дворами, чтобы никто из селян не увидел и не позавидовал ему раньше времени. Наверное, поэтому его мать, которую по совпадению тоже звали Катериной, невзлюбила невестку. Кроме Ивана у Катерины было еще четыре старших дочери, но жить с ними она наотрез отказалась, осталась в доме сына. В молодости она была первой красавицей на селе, и сейчас, хоть годы избороздили ее лицо морщинами, а тело согнулось под тяжестью крестьянской жизни, осталась в ее взгляде та нотка гордости, которая присуща исключительно уверенным в своей неотразимости людям.

Младшая Катерина не уступала ей в красоте, но превосходила по молодости и доброте, стойко выдерживая нападки сварливой свекрови. Приходилось выслушивать от нее много. То изба не убрана, то руки кривые, неправильно картошку чистят, а то корова молока меньше дает, и куры плохо несутся, потому что невестка на них не так смотрит.

Так и жили. Домик у них был небольшой, бревенчатый, всего в одну комнату, где уживались родители, Фрол и Катерина, Иван с женой и их шестеро детей. За стол садились все вместе, ставили в центр одну большую миску и ели из нее. Но если какой ребенок раньше главы дома руки к миске потянет, тут же получит деревянной ложкой по лбу так, что искры из глаз посыплются.

Накануне отъезда все сели за стол. Иван долго молчал, его лицо не передавало никаких эмоций, видно лишь было, как дергается его обритый висок. Дети неподвижно застыли с ложками в нетерпеливых ручонках, вглядываясь в лицо непривычно сосредоточенного отца. Катерина украдкой утерла слезу подолом.

- Теперче давайте есть, - наконец сказал отец и зачерпнул первую ложку похлебки.

Весело застучали ложки, сталкиваясь у самого центра посудины и побрякивая о зубы.

- Батя, я тоже пойду, - Алеша обнял отца на прощание.

- Малой ты еще, - Иван потрепал шестнадцатилетнего сына по курчавому чубу. – Баб наших тут защищай покамест. А там видно будет.

Утром Ивана вместе с другими призывниками погрузили в машину, покрытую брезентом, и они уехали, спешно, без церемоний и долгих прощаний. Их матери и жены еще долго стояли возле следа от колес на грунтовой дороге, не решаясь повернуть к дому, где начнется совсем другая жизнь.

Фашистские войска уже вплотную подобрались к Москве, сюда же была брошена и рота Ивана. Среди молодых парней, у которых едва пробивался пушок над верхней губой, он выглядел прошлогодним желудем, бойким, крепким, с толстой кожурой жизненного опыта. «Эх, им бы сейчас за девками бегать да хороводы с молодушками водить, а не в кустах сидеть», - с досадой думал Иван. Сам он уже пожил, детишек народил, а они вернутся ли в родные места?

Мальчишки, еще не чуявшие пороха, необстрелянные, во все глаза всматривались в лес за полем: где-то там притаился враг. Кроме Ивана, которого назначили правильным, неподвижно застыли у основания пушки еще четверо наших бойцов: трое молодых солдат - заряжающий Федька Быков, замковый Степан Михеев, да Леха Репин, наводчик, - и старший сержант Андрей Яровой, пристально глядящий в бинокль.

Вдруг из-за холма показались два вражеских танка. Раскачиваясь от движения по неровной местности, они приближались быстро и почти прямо на пушку. Федька непроизвольно вздрогнул. В первое мгновение ему показалось, что это какая-то игра, что это все не всерьез.

Медлить было нельзя, танки не должны были проникнуть в тыл.

- Заряжай, - скомандовал Яровой. - По правому танку. Гранатой.

Федька словно очнулся, он вложил увесистый снаряд в ствол пушки, Степан, не теряя ни секунды, закрыл затвор.

- Огонь!

Раздался оглушительный хлопок, пушку тряхнуло, с лязгом выпала гильза. Сквозь рассеявшийся дым Иван увидел, что снаряд не достиг цели, а танки подошли уже смертельно близко. Он схватился за голову: «Что теперь будет?»

- Прицел! Огонь! – уже отдает приказ старший сержант. Ему некогда рассуждать.

Второй снаряд с грохотом сносит танковую башню, из нее вырывается наружу черный дым. Ребята воспряли духом, Степа с Лехой порывисто обнялись.

- Мы вам покажем, фрицы поганые! – Федя показал здоровенный кулак врагу.

Но в это время они замечают, что второй танк изменил направление и уже на всех порах несется прямиком на бойцов. В следующее мгновение из его башни сверкнуло пламя, и снаряд со свистом пронесся над их головами, визгливо разлетелись по разным сторонам осколки.

- Угломер! – кричит сержант Яровой, но за минометным огнем его почти не слышно.

Иван всем своим весом налегает на хобот пушки, но сошник глубоко зарылся в грунт, и дуло не движется.

- Братцы, беда, - Иван кивает на сошник.

Солдаты навалились на пушку вчетвером, пытаясь сдвинуть прицел, но поздно. Секундная задержка стоила мальчишкам жизней.

Разорвавшийся рядом снаряд отбросил их в разные стороны от пушки. В какую-то секунду Ивану показалось, что он уже умер, лишь только непрекращающийся звон в ушах свидетельствовал, что это еще не рай и не ад.

Он очнулся от острой боли и не сразу понял, где он. Остатки сна еще не развеяли облаков над посевным полем, где он прилег отдохнуть после ударного труда, и не стерли с его губ капли парного молока от домашней Буренки. Есть что-то жестокое в таких пробуждениях. Умереть сразу было бы проще. Но не честнее.

Сколько Иван пролежал без сознания, он не знал. Вокруг стояла мертвецкая тишина, словно ему причудился бой с фашистами. Он лежал в овраге, а сверху на него смотрели усталые вековые дубы. Иван принялся ощупывать свое тело и угодил рукой в липкую жидкость, а следом наткнулся на торчащую из штанины кость и заскулил от боли и бессилия.

Лежать в лесу в луже своей крови было невыносимо. Он попробовал было поднять корпус, но его тут же стошнило. Перевернувшись на живот, Иван упал лицом в мягкую рыхлую после дождя землю, пахнущую мхом и грибами. Его тело содрогнулось от сдавленных конвульсий.

- Катя, Катерина, - уже не помня себя, бормотал он себе под нос, - я живой. Живой! Живой!

И внезапно, поднявшись на локтях, сделал первое нерешительное движение, отчего скулы свело от боли. Он стиснул зубы и попробовал еще раз. Потом еще и еще. Миновав овраг, за листьями деревьев невдалеке он увидел очертания деревушки.

Надежда на спасение придала ему сил, и он с новым рвением принялся работать локтями. Спустя полчаса он выбрался из леса, но чем быстрее он приближался к деревушке, тем отчетливее понимал: это место совсем заброшенное. И все же он крикнул, что было сил:

- Эге-ге-ге-гей!

Предательски во всю глотку каркнула ему в ответ ворона.

Иван подполз к крайнему срубовому домику, это оказалась баня.

Забравшись под полок, он вдохнул знакомый запах сырого дерева и разморенного березового веника, провел рукой по еще не просохшим доскам. Видно, совсем недавно здесь были люди.

«Ну, теперь и я нашел свой последний приют», - подумал Иван и провалился в забытье. Его разбудили голоса, ворвавшиеся в его беспокойный тяжелый сон, как непрошенные гости. Он едва не подал голос, но вовремя успел распознать немецкую речь. Трое мужчин вальяжно расхаживали в предбаннике, гремя по дощатому полу металлическими подковами на каблуках сапог.

- Смотрите! – один из них, видимо, заметил след крови, который оставил за собой Иван.

Послышался щелчок затвора. Немцы притихли, мягко отступая к углам. Вдруг один из них громогласно расхохотался:

- Идите сюда, вот он.

- Прикончи его, - визгливо вмешался другой.

- Да он и так мертвый, - последовал ответ. – Не трать патроны.

Двое мужчин вышли. Один остался стоять, насвистывая себе под нос немецкую песенку. Повозившись немного с формой, кряхтя и ругаясь, он расстегнул ширинку и пустил на пол тонкую струю. Иван пожалел, что у него не было с собой оружия.

Кончив свое дело, немец причмокнул и потоптался на месте, словно обдумывая, уходить или нет. А потом со всего размаху пнул Ивана мыском сапога.

Адская боль разлилась по его телу, но он не издал ни звука. Только в голове к непрекращающемуся звону после контузии добавился еще один, почти невыносимый писк. Фриц что-то еще брякнул на своем, развернулся и вышел.

«Может, я ей богу, уже преставился?» - последнее, что успел подумать Иван, прежде чем отключился.

Когда Иван услышал русскую речь, он был почти уверен, что это проделки его воспаленного сознания. Он потерял ориентацию в пространстве и во времени. Через щель между дверью и полом в баню полз тонкой змейкой дневной свет.

«Значит, день. Тот же али уж другой?» - мысли Ивана путались.

Русские офицеры вполголоса что-то спешно обсуждали где-то неподалеку.

У Ивана из груди вырвался сдавленный стон, а по щекам побежали обжигающе-горячие слезы. Плакал он редко и никому не показывал свою слабость, не в его это было характере. Последний раз это случилось с ним шестнадцать лет назад, когда родился его первенец Алеша.

- Братцы! – тихо позвал он. – Братцы, родненькие!

Через минуту офицеры обнаружили его.

- Как же ты здесь оказался? Отец, тебе надо в госпиталь. – Они помогли Ивану выбраться из-под полока. – Мы тебя сможем доставить только на базу, дальше нам на задание. Тебя сестрички наши заберут. Крепись, отец!

В госпитале сказали, ногу надо отнимать. С такой раной он пролежал слишком долго, полностью восстановить кости и ткани уже не удастся.

Ухватившись за бедро, Иван заголосил:

- Не дам! Ей богу, не дам! Кому я в селе буду нужен без ноги?

- Иван Фролович, миленький, - уговаривала его медицинская сестра, - а если заражение? Вам уже не о ноге нужно думать, а о жизни.

- Обожди меня хоронить, - сердито нахмурил брови Иван, но неожиданно лицо его смягчилось. - Делай, родненькая, что угодно делай, - взмолился он. – Но ногу мою оставь.

Через год Горбушин Иван вернулся домой, прихрамывая на правую ногу и придерживая повязку, под которой сочилась незаживающая рана. Его встречали всем селом, в основном, бабы и ребятишки, и было в этом что-то радостное и одновременно горькое. Иван чувствовал себя неловко перед теми, кто получил похоронки, словно он был виноват в том, что остался жив.

Катерина, увидав мужа, заторопилась прижаться к нему, спрятав в его плече все чувства, рвавшиеся наружу, показывать которые считалось дурным тоном на селе. Все, что она пережила за этот год с небольшим и крепко держала в себе, чтобы не показывать ни детям, ни старикам: невыплаканные слезы, страх, отчаяние, надежда, и, в конечном итоге, смирение и повиновение воле Божьей, - все это легло солью на рубашку мужа. Иван долго не отнимал ее от груди, он все чувствовал, как тогда, в лесу, когда он звал ее, и через сотню верст слышал, как она ему отвечает. «Милый, я с тобой, родной мой, в здравии и болезни, в счастье и горе. Только возвращайся живым». Единственно ее любовь помогла ему выбраться из того холодного оврага.

Ивана принялись отпаивать самогонкой, расспрашивать про войну и про ранение, но он все больше молчал. Только жилка на его виске монотонно пульсировала, отчего становилось понятно, что внутри у него не смолкает разговор о войне, да только какому же собеседнику это расскажешь? Да и зачем? Тем, кто этого не испытал, не понять его чувств, а тот, кто испытал, сам запретит говорить об ужасах войны.

- Знаешь, батя, я тоже пойду на фронт, - сказал Алеша.

Катерина, услышав это, порывисто вскрикнула, и ее лицо оросилось тихими слезами. Отец ничего не ответил, он долго и пристально посмотрел сыну в глаза, и вдруг увидев в его решимости признаки уже не мальчика, а молодого мужчины, не стал отговаривать.

- Мать, налей-ка нам, - махнул рукой Иван.

Алеше еще не было восемнадцати, когда он ушел на фронт, приписав себе лишний год в документах. Год, который он никогда не проживет. Сначала от него долетали весточки, запечатанные в фронтовые треугольники. Их читала вслух за общим столом старшая сестра Прасковья, а потом мать еще долго украдкой прижимала к носу мятую бумагу и все дышала, дышала, никак не могла надышаться этим запахом, а ночью так и засыпала, прижав к груди клочок бумаги, то единственное, что ее теперь связывало с сыном. Когда Алеша попал в оккупацию, письма прекратились. Теперь писать ему было не о чем, хотя повидал он немало, хватит не на год – на целую вечность. Он видел, как расстреливали стариков и детей, как избивали и прилюдно вешали женщин, как унижали честь русских девушек, как съедены были все крысы в городе, а потом и собаки, и как люди на его глазах превращались в животных, даже хуже, чем в скот, потому что в животном мире не едят себе подобных. Теперь он понимал, о чем молчал тогда отец за столом.

В Красном Садке продолжала идти жизнь, хромая, как собака с перебитыми лапами, но неумолимая, как течение реки. Спустя год после возвращения Ивана, у них с Катериной появился сын Витенька. Хоть и поскребыш, а родился он крепким здоровым малышом.

- Виктор Иванович, - с гордостью заявил отец, заглядывая в пеленки и украдкой утирая слезу. – Наш, Горбушин!

Иван вышел во двор и, сощурившись, поглядел вдаль, где из-за горизонта вовсю рвалось раскаленное августовское солнце. Из леса доносились перезвоны чибиса, и, пожалуй, впервые за долгое время ненадолго отступил непрекращающийся шум в ушах.

Его душа рвалась навстречу жизни.

Май 2020

**Бандура**

Косой дождь хлестал Аллочку по щекам, ветер с силой вырывал из ее детской ладошки зонт, отчего спицы скрипели и гнулись. Под ударами такой стихии любой бы отчаялся. Но промокшая насквозь Алла, серьезно сдвинув бровки, продолжала идти вперед, подавшись всем своим крохотным телом против ветра и ливня.

Свой маленький зеленый зонтик, который уже совсем не защищал ее от дождя, она ни за что не хотела отдавать урагану и еще крепче сжимала его продрогшими пальцами. Устав с ней бороться, ветер вывернул зонт наизнанку, поломав несколько спиц.

Сложить его у Аллочки не получилось, потому что в другой руке она держала виолончель в сером тряпичном чехле, а поставить инструмент на мокрый асфальт она не могла себе позволить.

Сегодня у нее был важный день: первый в ее жизни музыкальный конкурс скрипачей и виолончелистов. С самого утра она готовилась к нему: надела белую блузку и темно синюю юбку с жилеткой, которые мама купила ей специально для торжественных мероприятий, долго возилась перед зеркалом, пытаясь приструнить свою непокорную светлую челку заколками.

Наконец, она выпила сладкий чай и вышла. Дождь ее не пугал, гораздо страшнее было выступать перед полным залом зрителей и членами жюри.

Алла шагала одна, с ней не было ни родителей, ни сестры: будничное утро – не самый лучший вариант для того, чтобы рассчитывать на группу поддержки. Да и не любили в ее семье музыку.

Это был словно гром среди ясного неба, когда Алла пришла домой и объявила: «Я записалась в музыкальную школу!»

В комнате повисла пауза, похожая на огромный мыльный пузырь, который, облетев всю комнату, лопнул изумленным:

- Вот как?

- Да! К нам в класс сегодня приходила учительница из музыкальной школы, и, знаете, как она интересно рассказывала! Я хочу там учиться.

- И на каком же инструменте? – с недоверием фыркнула мама. - Фортепиано? Скрипка? Флейта?

- Виолончель, - Алла всех ошарашила своим ответом.

- Это та большущая бандура, которую держат между ног?

- Ага, - закивала Алла. – Мам, только сходишь со мной на прослушивание?

- То есть тебя, возможно, еще не примут?

- Если у меня способностей нет, - выдохнула Алла. – Тогда нет.

- Откуда же у тебя способностям взяться? У нас в роду никогда не было никаких музыкантов.

Все же мама пошла с ней на прослушивание.

Оказалось, что учитель музыки – мамина одноклассница. Алла очень обрадовалась. Слова «блат» она тогда еще не знала, но какое-то внутреннее чувство восторга переполняло ее.

Нина Александровна, так звали учительницу, взяла инструмент и начала самозабвенно играть. Ее лицо озарил внутренний свет. Она прикрыла глаза и словно унеслась прочь из этого душного кабинета, туда, где не было ни забот, ни тревог, а только одна мечта, которую лишь протяни ладонь – достанешь.

Алла открыла рот в изумлении. Она была далеко-далеко, наверное, там же, где и Нина Александровна, а, может, совсем в другом мире. Фантазии унесли ее туда, где папа и мама вместе, где по утрам слышен смех, где у нее есть друзья и где ее день рождения отмечают каждый год, а не тогда, когда есть деньги.

Нина Александровна кончила играть и отставила виолончель, раскрасневшаяся, с озорными искорками в глазах и еще с легкой дрожью во всем теле.

Алла была счастлива, ведь у ее мамы с Ниной Александровной было так много общего: они учились в одной школе, гуляли в одном дворе, их даже звали одинаково, только отчества были разные.

Мама сидела, подперев кулаком подбородок и разглядывала свои туфли. Когда музыка стихла, она спросила:

- Когда начнется прослушивание?

- Давайте начнем, - ответила учитель и прошла за фортепиано.

Маму она попросила выйти, а Алле дала задание повторять мелодию, которую она наигрывала на инструменте. Девочка ужасно волновалась: Нина Александровна сказала, что для игры на виолончели нужен идеальный слух. Был он у нее или нет, этого Алла не знала.

Позже оказалось, что все же был, и ее приняли в музыкальную школу. Хотя мама сказала, что приняли ее не потому, что у нее были способности, а из-за того, что в школе был недобор, к тому же за аренду виолончели, нужно было платить шестьдесят рублей в год.

- Эх, Нинка, всю жизнь бренчит, - с сожалением сказала мама по пути домой. - Могла бы стать нормальным инженером!

Алла не заметила, как подошла к старенькому Дворцу культуры. Ее сердце бешено заколотилось. Пришлось немного повозиться с массивной дверью, протискивая в нее виолончель размером с нее и сломанный зонт c торчащими во все стороны гнутыми спицами. Едва она вошла внутрь, как в нос ударил тяжелый запах. Так пахнет, когда только-только начинается гроза. Мама говорит, что так пахнет пыль, а старшая сестра уверяет, что это запах разряженного кислорода – озона.

Версия про озон Алле нравилась больше, чем про пыль, но если бы спросили у нее, она бы сказала, что, должно быть, так пахнут музыканты, и художники, и танцоры, словом все те талантливые люди, которых повидал на своем веку этот Дворец культуры. Она набрала полную грудь воздуха, а потом еще и еще, и все никак не могла надышаться.

- Аллочка, заходи скорее, - сказала взволнованная Нина Александровна, увидев ученицу в дверях. – Иди на второй этаж, настраивайся.

- Хорошо, - кивнула девочка и пошла к лестнице, которая поражала своим великолепием и размахом. Сквозь кованые перила из окна струился мягкий свет и разливался на мраморных ступенях.

Как нужно настраиваться, Алла не знала. Наверное, был какой-то секрет, который передают из уст в уста потомственные артисты, у нее же в роду все были заводчане.

Она достала из футляра виолончель, выкрутила ножку, погладила темно-коричневый корпус, блестящий от капелек воды, ущипнула за струну с самым низким звучанием, провела пальцем по изгибу грифа.

Вокруг нее была настоящая сутолока: дети, пиликающие на скрипках, их мамы, бегающие вокруг них с расческами, доделывая изящные прически, учителя, дающие своим ученикам последние наставления перед выходом на сцену. Почему-то Аллочке было неуютно при таком скоплении разношерстной публики, и она забилась в угол, отгородившись виолончелью, как щитом.

- Алла, идем! – вдруг позвала Нина Александровна, и девочка обрадовалась, что совсем скоро ее мучениям придет конец.

За роялем сидела аккомпаниатор. Когда она кивнула, Алла робко начала. Она играла этюд Шлемюллера «Непрерывное движение». Смычок тяжело заскрипел по струнам.

Алла поймала на себе неодобрительный взгляд учителя, который без слов говорил: «Надо было усерднее заниматься, всю себя отдавая музыке».

Нина Александровна ей объяснила, что невозможно добиться успеха, если ежедневно не проводить за инструментом по шесть часов. «Ты должна слиться со смычком, - твердила учитель с жаром, - он должен стать твоим продолжением». Но как же Алла могла с ним слиться, ведь едва она доставала из-за шифоньера виолончель, все в доме начинали возмущенно упрекать ее: «Опять ты свою бандуру достала!»

В конце концов, за инструментом с красивым бархатным звучанием закрепилось презрительное «бандура», а Алла стала брать его, только когда дома никого не было. Но и теперь она не могла играть. Звуки казались ей фальшивыми, повсюду мерещилось порицательное шиканье. Она сотни раз задавала себе вопрос: «Как Нине Александровне удается из этих четырех струн высекать огонь души? И почему она не способна породить хотя бы маленькую искру, которая разожжет любовь к ней?»

Алла играла уже пять минут, четвертый раз заходя на один и тот же виток мелодии, и никак не могла окончить произведение.

Так же, как мысли крутились в ее голове по кругу, она снова и снова играла одни и те же ноты. Аккомпаниатор смотрела на нее во все глаза, пытаясь подать знак, что пора заканчивать, но Алла ее не видела.

Она уже не различала ни зрителей, ни жюри, ни учителя музыки. Сквозь мутную пелену глаз она искала взглядом маму, которая сказала бы ей хоть раз: «Сыграй мне» и посмотрела бы на нее так, как Нина Александровна смотрит на виолончель.

Но Алла никогда не резонировала в маминых руках ни безусловной любовью, ни детским беспечным счастьем. Она вдруг поняла, что сама и есть та самая «бандура», пустая, расстроенная и вечно всем мешающая, как ни прячь ее в серый чехол и не задвигай поглубже в угол. И что ей никогда не стать этим благородным изящным инструментом, который умеет производить на свет такие мягкие бархатистые звуки.

В конце концов, Алла прервала замкнутый в нескольких нотах круг и доиграла этюд. В ней словно лопнул натянутый годами нерв. Она встала, поклонилась, спустилась по ступеням со сцены, придерживаясь за стену, чтобы не упасть, и вышла из зала.

«Бандура», «бандура», «бандура», - стучало у нее в голове. Ее бил озноб.

Спустя час жюри объявили итоги конкурса. Они не смогли присудить Алле место, потому что кроме нее не выступил ни один виолончелист. Домой она возвращалась без грамоты и без настроения, но с решением. Музыки больше в ее жизни не будет.

На следующий день она отнесла виолончель в музыкальную школу.

- Я больше не приду, простите, - хрипло сказала она Нине Александровне, не глядя ей в глаза.

Алла боялась смотреть на учительницу, потому что знала, что увидев ее легкий светлый взгляд, передумает. И тогда она опять, возвращаясь с занятий музыки, будет искать его на мамином лице, но никогда не найдет, и это разорвет ей сердце.

Алла хотела поскорей забыть и Нину Александровну, и годы, проведенные в музыкальной школе, и это свое внезапное открытие, но девочка еще не подозревала, что в каждом будет искать этот полный страсти к жизни взгляд.

В камине потрескивали поленья. Алла, укутавшись в шерстяной плед, смотрела на огонь под негромкое бормотание телевизора, где крутили старый советский фильм.

- О чем ты думаешь? – спросил ее муж.

- Да так, ни о чем, - Алла кротко улыбнулась, бросив беглый взгляд на телевизор, где началась трансляция концерта для виолончели.

- Ой, ты же не любишь музыку, - муж встал с места. – Давай выключу.

- Не надо, - Алла остановила его. – Лучше сделай погромче.

Бархатистый обволакивающий звук залил комнату, Алла посмотрела в глаза мужу и улыбнулась:

- Я думала о том, что даже самая никчемная бандура в любящих руках способна зазвучать прекрасной мелодией.

**А все-таки…**

Эта Валька – сущий кошмар! И откуда только такие берутся? Ее настроение никогда невозможно разгадать, она то смотрит с равнодушием, а то вдруг с воодушевлением начнет болтать о какой-то ерунде. Взять стихи, например. Ну чего в них может быть интересного? Розы – мимозы, любовь – кровь. Так бы и вычеркнул литературу из учебной программы!

То ли дело – физика. Или химия. Да хоть бы и биология!

Пока весь класс гоготал над карикатурой Антонины Васильевны, учителя по литературе, которую Вадик с удивительным сходством нацарапал на доске во время перемены, сам он исподлобья смотрел на Вальку. Она словно и не замечала всеобщего веселья.

Накручивала прядь волос на палец, глядя в окно и что-то, еле шевеля губами, бормотала.

Вадик ее терпеть не мог: круглая отличница, умница, да к тому же еще и красавица, что сильно усугубляло дело. Была бы она какая-нибудь жаба, тут и разговора бы не было. Жил бы он себе спокойно, гонял в футбол с ребятами во дворе, катался на велике, удил рыбу. Но нет, далась ему эта Валька.

Вот, скажем, косички. Любая нормальная девчонка, которую дернешь за волосы, насупится, скажет: «Вадик, дурак!», потом смущенно хихикнет и отвернется. С Валькой же этот фокус еще ни разу не прошел.

- Кто это сделал? – голос учителя отозвался в самых поджилках у Вадика. Засмотревшись на Вальку, он не успел стереть с доски свой рисунок.

Внутри у него все сжалось в тугой комок.

- Я еще раз повторяю, чьих рук эти художества? – спросила литераторша, обводя рентгеновским взглядом каждого ученика.

Вадик бросил беглый взгляд на Вальку. Она на него не смотрела и ни на кого не смотрела – вперила серьезный взгляд в парту, снова теребя свой локон.

У Вадика пересохло в горле. Хохмач и весельчак по натуре, он впервые оказался в такой ситуации. Ему нравилось быть в центре внимания, развлекая класс своими выходками, но ему удавалось делать это незаметно. И уж точно он не хотел обидеть Антонину Васильевну, которая, хоть и была старого, еще советского замеса строгой учительницей, но всегда справедливо относилась к ученикам.

Тяжелая пауза затянулась. Вадик никак не мог выдавить из себя и полслова. Сказали бы ему раньше, что он трус, он бы не поверил.

Он бросил последний, почти умоляющий взгляд на Вальку. «Если бы она на меня хоть краешком глаза посмотрела, хотя бы голову в мою сторону повернула, я бы сразу признался».

- Валентина, сотри с доски, - попросила Антонина Васильевна, и тяжело опустилась на стул. – Что сказать, ребята? Я разочарована.

- Я тоже, - еле слышно отозвалась Валька, превращая рисунок Вадика в невесомую крошку мела, которая, точно поздний мартовский снег, медленно опускалась на пол.

Валька бросила кроткий, полный презрения взгляд, не на Вадима, а куда-то сквозь него, будто его вообще не существовало, и села на свое место.

Как прошел урок, Вадик не помнил. Он рассеянно писал под диктовку учителя слова, смысла которых не мог уловить. Кого-то спрашивали – кто-то отвечал.

Наконец звонок разорвал кольцо его мучений, и он, вприпрыжку сбежав в гардероб, торопливо нахлобучил на макушку шапку и в куртке нараспашку вышел на улицу. Свежий воздух его немного ободрил. Особое удовольствие школьных лет – погулять во дворе после уроков.

Как это свойственно молодым барышням, ранняя весна капризничала. То с неистовым усердием топила сугробы, то снегопадом покрывала весь город, превращая его в сплошное белое полотно, то ослепляла солнцем, то на целый день заряжала такую грустную пластинку моросящего дождя, что настроение портилось само собой.

В этот день небо было пасмурным, на асфальте подморозилась вчерашняя слякоть, превратив школьный двор в сплошной каток. Разбежавшись, можно было катиться до самых ворот.

На улицу высыпали, точно горошины, одноклассники Вадика. Ребята, побросав портфели на ступеньках, тут же принялись обстреливать снежками девчонок, которые звонко заливаясь, неуклюже балансировали на льду. Только Вальки нигде не было видно.

«Ну и черт с ней, с этой Валькой!» - подумал Вадик, застегивая куртку. И с криком: «А ну, держись!» с разбегу полетел на девчонок, сбивая их с ног и опрокидывая в еще по-зимнему мягкие сугробы.

Девчонки поднимались, отряхивались, смеясь, и не успевали сделать и шагу, как Вадик уже снова на них летел. Он чувствовал, что хоть они и обзываются, а все же им его забава пришлась по вкусу.

Увлекшись игрой, Вадик не заметил, как Валька тихонько вышла из школы и почти скрылась за воротами школы.

- А ну, держись, Валька! – крикнул Вадик, завидев вдалеке одноклассницу.

- Не подходи! – Валька взглянула на него, сердито сдвинув брови.

И уже сам не понимая, что делает, с азартом Вадик кинулся в ее сторону.

Она смотрела на него. Прямо в глаза! Худенькая школьница в тоненьких колготочках, берете и стареньком, наверное, еще с маминого плеча, драповом пальто.

На мгновение Вадику стало ее жалко, захотелось, чтобы поскорее стало тепло, и она согрелась. Но нет, ведь тогда – скоро лето, а это целых три месяца каникул и разлуки, потому что он точно знал: она на все лето уезжает в деревню.

Валька смотрела на него, впервые смотрела на него, и он не сводил с нее глаз. Вадик летел не по льду, у него выросли крылья, он воспарил над землей.

И она, такая прекрасная и беззащитная, тоже оторвалась от асфальта. И были только они вдвоем во всей Вселенной.

Вадик почти вплотную приблизился к Вальке, как что-то красное и тяжелое обрушилось на его голову. Это был ее пакет со сменной обувью, тяжелые туфли на толстом низком каблучке.

У Вадика слетела шапка с головы, на его лице расползлась нервная натуженная улыбка, он как-то неловко крякнул и упал на лед.

Со всех сторон его обступили ребята, наперебой что-то бормоча. У него сильно кружилась голова, поэтому он не мог разобрать, что они ему говорят. Слова повисали в воздухе и рассыпались звездочками в сером небе.

Завтра он сознается Антонине Васильевне в том, что это он нарисовал ее карикатуру, и если подумать, летние каникулы не такие уж длинные, потому что за ними снова наступит осень, а потом еще пять лет школы, и этих карих глаз, которые умеют так удивительно на него смотреть.

Вадик приложил ладонь к лицу. На его щеке еще горел след от Валькиного пакета.

- А все-таки она меня любит!

# Легкая атлетика

Когда мне было лет семь, может быть, восемь, я хотела заниматься легкой атлетикой. Без шуток. На полном серьезе.

Я могла бы занимать призовые места в соревнованиях, ставить на полку кубки, вешать на гвоздик медали, протирать их влажной тряпочкой раз в год, смущенно улыбаться, слушая похвалу друзей.

Я так сильно горела этой идеей! Так же сильно, как до этого хотела стать балериной, а потом стюардессой. Ну, то есть думала, что это дело всей моей жизни, ничего другого и не видела.

Твердо знать, чего хочешь от жизни и не сомневаться в правильности своего решения способны только дети. Это, взрослея, люди понимают, что есть еще вероятность неудачи, и все чаще прежде, чем сделать первый шаг, забивают мозг мрачными мыслями. Мы отпускаем мечты, и они подобно шарику с гелием улетают в небо, туда, куда стремилась душа, но в итоге тело, в которое она облачена, перевешивается в сторону дивана.

Все потому что в детстве душа большая, а попа маленькая, а в зрелости – наоборот.

Так вот, когда моя душа была легче, мне хотелось бегать. Мне нужны были только кроссовки, а там – дело за малым. Знай себе – беги. Думай о победе или смотри по сторонам, любуйся пейзажем.

Так я тогда думала. Я не знала, что когда бежишь, мозг работает, как конвейер, подгоняя все новые и новые мысли. От них начинает рябить в глазах и подташнивать, потому что мы не сами выбираем, о чем думать. Подключается подсознание, такое верное детским обидам и психологическим проблемам. И вот тут попробуй не сойти с ума!

На дворе стояла зима, город занесло снегом, близился Новый год. В воздухе витал аромат волшебства. Теперь я, может, и спутала бы его, сказала бы, что пахнет мандаринами, и женщина в очереди слишком сильно спрыснула свое тело духами, такими сладкими, что становится ясно: ей тридцать с хвостиком и она не замужем. А тогда я твердо знала: пахнет волшебством!

На площади нарядили елку, и по вечерам все сияло огоньками, отражаясь на кристально-белой поверхности дорог. С экранов еще не слетал на оленях толстый Санта под песню «Праздник к нам приходит», потому что кока-колы тогда и в помине не было.

Все было такое настоящее, живое: елка с запахом смолы; стеклянные игрушки, сохранившиеся еще от бабушки; приклеенные на мыльный раствор снежинки на окнах. Мама вздыхала: «Потом стекла придется отмывать, собирать по всей квартире елочные иголки и осколки от игрушек, которые побила кошка». Она тогда еще не представляла, что совсем скоро наступит пластиковый век, где все призвано облегчить человеческую жизнь, превратив ее в калейдоскоп безвкусных событий. Никаких хлопот, никаких проблем и никаких эмоций.

В те времена все было по-другому. Мы скромно отпраздновали Новый год, прогулялись по ночному нарядному городу и легли спать.

У нас была такая маленькая квартирка, что в комнате даже негде было поставить отдельную кровать для меня, поэтому мы спали вместе с мамой.

Я открыла глаза посреди ночи в тревожном предчувствии. Мамы рядом не было. На кухне горел свет.

Некоторое время я лежала, глядя в потолок. Правильнее всего было бы уснуть, но сон никак не шел. Терзаемая любопытством, я свесилась с кровати и заглянула на кухню. Да-да, настолько маленькая квартирка, что заглянуть на кухню можно было, не вставая с кровати в комнате.

Некоторое время мама сидела, обхватив руками голову. Ее губы беззвучно подрагивали. Меня разрывало желание подойти к ней. Но я лишь смотрела на ее сгорбившуюся фигуру в тусклом свете люстры.

Потом мама достала из-под стола сверток, бережно развернула прозрачную упаковку и вынула оттуда кроссовки. Я поняла, это был новогодний подарок для меня. Фиолетовые кроссовочки с розовыми и зелеными вставками по бокам. Какие же они были красивые! Я их и сейчас помню.

Мама внимательно осмотрела их со всех сторон и упаковала обратно. Медленно отложила их на край стола и закрыла лицо руками.

Мне хотелось крикнуть ей: «Мама! Я все знаю, я уже не ребенок! Я знаю, что Деда Мороза не существует, что ты работала на трех работах, чтобы купить эти чертовы кроссовки вместо того, чтобы позволить себе новое платье. Я знаю, что ты не чувствуешь того аромата волшебства, о котором я тебе все уши прожужжала, что ты больше не веришь в счастье и не мечтаешь по ночам. Ведь тебе так мало лет, а ты думаешь только о том, как прокормить семью, как вырастить детей, чтобы они ни в чем не нуждались и не чувствовали себя никому не нужными в огромном жестоком мире. И ты никогда никому не станешь жаловаться и просить помощи у отца, который забыл имена своих дочерей».

Мне хотелось подойти и обнять ее, сказать, что мне не нужны никакие подарки, просто дай обнять себя! Но в нашей семье не приняты были «телячьи нежности». А что делать теленку, который по ошибке родился в семье толстокожих буйволов?

Я свернулась калачиком, утирая слезы, и притворилась спящей, когда на нашу кровать устало опустилась мама. Она моментально заснула, а я так и не смогла сомкнуть веки.

Наутро я неумело изобразила восхищение, удивление и восторг в глазах, когда выуживала из-под елки свой подарок, и, кажется, никто ничего не заметил. Мама невесело улыбнулась одними губами и позвала завтракать.

Я возненавидела эти кроссовки и дала себе слово больше ни о чем не просить маму. Только любить, и без «телячьих нежностей», потому что она их терпеть не может. А у Деда Мороза я попросила подарок. Пусть он мне покажет, как мама умеет улыбаться глазами, сердцем и душой. Ведь этого я никогда не видела.

И еще я начала бегать, потому что мне хотелось сделать маме приятное, доказать, что она не зря старалась, зарабатывая на мою мечту. Но мысли сжирали меня изнутри. Я потеряла аппетит, сон и спокойствие. Каждый раз, когда я обувала эти кроссовки, перед глазами стояло мамино грустное лицо, а в голове звенели совсем не детские мысли.

Моя легкоатлетическая карьера закончилась, так и не успев начаться.

Думаете, стань я стюардессой, было бы легче?

# Синяя кошка

Эта история давно поросла мхом, стерлись с подкорки ее детали и, наверное, не стоило бы хранить в памяти эти давнишние события. Но мой мозг тщательно оберегает ее, не давая забыть то, что больше всего хочется вычеркнуть из жизни.

По молодости, так получается, что все удается, любое дело, за которое ни возьмешься, в руках спорится. Мечты смелые, улыбка дерзкая, глаза наглые.

Так было и у меня. Жизнь бурлила, как пузырьки во взболтанной бутылке газировки, и, казалось, если открыть крышку, то моя энергия забрызжет всех вокруг своим неуемным оптимизмом. Я торопилась жить. Бралась за все, что предлагала судьба, и почти везде добивалась успеха. Училась я хорошо и, даже не слишком стараясь, все равно таскала домой «пятерки».

Все шло по четкому плану: выпуск из школы, поступление в ВУЗ и долгожданная поездка с мамой на море.

Конечно, я сразу обзавелась кучей подруг и поклонников. Мы болтались по берегу моря, подставляя лицо соленым брызгам. Уже тогда водная гладь была неспокойной, и со дня на день обещали шторм.

А мне даже нравилось это волнение пенных набегов на берег. Море словно дразнило и бросало пловцам вызов, не показывая всю свою силу, но лишь намекая на нее.

И мою бунтарскую натуру влекло к нему. Это то чувство, которое невозможно объяснить словами. И чем сильнее сгущались тучи, чем больше волн ударялось о волнорез, посылая ввысь фонтан из брызг, тем сильнее меня тянуло в морскую пучину.

В один из дней объявили конкурс на звание «Мисс Автотранспортник», так называлась наша гостиница. Конечно, я не смогла удержаться, чтобы не поучаствовать. Хорошо справляясь с заданиями, я все же не могла предположить, кто из нас победит, - соперницы были достойными.

Финальным испытанием назначили прыжок в воду с пирса двухметровой высоты. Другие девчонки визжали, прыгая «солдатиком», и зажимали носы ладонями, а при входе в воду неуклюже растопыривали пальцы ног. Я была на высоте, «щучкой» разрезав плотную маслянистую воду Черного моря натянутым, как тетива лука, телом. Сорвав аплодисменты, я вырвала победу у конкуренток.

Снова победа! Я ликовала, ощущая себя чуть ли не всемогущей. Опять мои маленькие мечты сбывались, едва я только успела о них подумать. Казалось, так будет всегда. Впереди грезилась наполненная счастьем долгая жизнь, где все мои желания будет исполнять благосклонная ко мне Фортуна.

Надо сказать, интуиция моя – дерьмо. Ведь ни кружась в объятиях осмелевшего поклонника, ни фотографируясь, подставив объективу растянутое в счастливой улыбке лицо, я не почувствовала на себе чей-то внимательный взгляд, улавливающий каждое мое движение.

Наутро мы с мамой решили поехать на экскурсию к Дольменам. Говорят, они исполняют желания, избавляют от грехов и даже лечат серьезнейшие заболевания. В эту чепуху я, конечно, не верила, но почему бы и не прогуляться по лесу, прикладываясь разными частями тела к древним камням. «А вдруг?» - мой принцип по жизни с самого детства. Не попробуешь – не узнаешь!

Около автобуса уже толпились туристы, кто-то ждал опаздывающих друзей, кто-то докуривал сигарету, а кто-то попросту загорал, раскинув руки и подставив лицо еще зевающему спросонок солнцу.

Мне среди этих людей делать было нечего, и я вошла в автобус, с радостью отметив про себя, что свободны мои любимые места – в самом конце салона. Я устремилась к ним, а мама молча последовала за мной.

Усевшись рядом с мужчиной, я победоносно улыбнулась, предвкушая отличную поездку. На задних местах здорово подбрасывает вверх, а учитывая, что путь будет пролегать через проселочную дорогу, эффект «американских горок» был гарантирован.

Я веселилась, а лицо мамы почему-то радостью не искрилось. Более того, будь оно морем, можно было бы дать все девять баллов по шкале Бофорта.

Ее лоб покрылся набегающими волнистыми складками, а в глазах опрокидывались и рассыпались брызги ярости.

Понятно, что мама была не в восторге от идеи трястись полтора часа на заднем кресле, но что поделать, иногда дети просто невыносимы.

От скуки я начала рассматривать людей, в которых, к сожалению, не было ничего выдающегося: соломенные шляпы с широкими полями, солнечные очки на лохматых макушках, обгоревшие плечи, тщательно намазанные позавчерашней сметаной.

Наконец, взгляд уперся в соседа, точнее, в его ладони, на которых покоился огромных размеров арбуз. Меня эти руки поразили. Да что там, поразили! Я была ошеломлена, словно молния прошла сквозь меня.

В глазах вдруг стало темно и непривычно влажно. Я с самого детства не любила плакать. Даже думала, что выплакала все слезы еще в младших классах, когда сверстники дразнили меня «безотцовщиной» и упражнялись в изощренных пытках, на которые способны только дети. Потому что самые жестокие палачи, это как раз-таки они, маленькие изверги с гипертрофированным чувством эгоцентризма и уверенностью, что серьезное наказание они не понесут.

Нет, руки, как руки! Грубоватые пальцы рабочего человека с неровно подстриженными ногтями, заломы морщинок на запястьях, сухая от ветра и соли кожа. И ничего бы не заставило меня остановить на них взгляд, если бы не татуировка.

Это сейчас делают татуировки любых форм, размеров и цветов. Хочешь, крылья на всю спину, хочешь, разноцветные узоры на плечо, а девчонкам – дельфина на поясницу, который через десяток лет поплывет и растолстеет вместе с хозяйкой тела.

Раньше все было проще: рисунки без выдумки, корявые линии серо-синего цвета, которые со временем бледнеют, но не исчезает совсем, храня воспоминания об ошибках молодости.

На правой руке моего соседа был накарябан простой силуэт кошки. Треугольник в самом центре тыльной стороны ладони – это нос, две точки сверху – глазки, черточки в разные стороны, обозначающие усы, да два уголка сверху – это уши.

И это произведение постмодернизма повергло меня в шок?

Да.

Когда еще зареванной маленькой девочкой, измотанной последствиями изобретательной детской злобы, я возвращалась домой, то подолгу рассматривала единственную семейную фотографию, на которой присутствует отец. Я там совсем кроха, годовалая малышка, которую разбудили за десять минут до съемки. В огромных карих глазах одновременно застыли страх и любопытство, и в то же время на пухлом личике царит спокойствие, я же на руках у папы.

Образцовая фотография. Серьезная мама держит идеальную осанку, старшая сестра с розовым пышным бантом на макушке, красавец-отец, прижимающий к себе смешную младшую дочь, похожую на колобка.

А на руке, что придерживает пухлый животик малышки, татуировка кошки.

Нос треугольником, глаза в две точки, усы и уши. Всего несколько линий, не больше наперстка краски. Но я столько лет всматривалась в эти линии, что, увы, забыть их не смогу никогда.

У меня сбилось дыхание. Хватая ртом воздух, я переводила взгляд то на папу, то на маму. Все молчали. Казалось, первым заговорит арбуз. Но и он сохранял тишину.

Первой не выдержала все же я.

- Здрасьте, - как-то противоестественно выпалила я. И это «здрасьте» повисло в воздухе, который, казалось, стал таким плотным, что его можно было потрогать руками.

И снова рвущая душу тишина. Ноги онемели, тело отказывалось слушаться.

- Вы… Ты… - я пробовала слова на вкус, но они были горькими, такими омерзительными, что захотелось прополоскать рот, смывая с языка липкую вязкую массу.

Отец отложил арбуз и вышел из автобуса, закурил, глубоко затягиваясь и смачно сплевывая на асфальт, а я украдкой наблюдала за ним сквозь пыльное стекло.

Спустя несколько бесконечно долгих минут он вернулся, но лишь для того, чтобы забрать арбуз и пересесть на другое кресло.

Надо ли говорить, что остаток дня прошел как в тумане. Мы бродили по лесу, пытаясь не отставать от экскурсовода, которая говорила какие-то вдруг ставшие бессмысленными слова. Загадывала ли я желание, я не помню, но отец так со мной и не заговорил. Я не задала ему ни единого вопроса, не рассказала, что всегда хотела его увидеть, и не призналась, что не держу на него зла.

Он держался поодаль, избегая контакта со мной, словно я была на последней стадии туберкулеза. Так мы и вышли из автобуса: я с разбитым сердцем и папа с арбузом.

Что-то внутри меня с треском надломилось. Я знала, что мы расстаемся навсегда. И уже не казалось будущее безоблачным, не верилось ни в счастливую звезду, ни в Его Величество Случай. Потому что нет ничего страшнее, когда тебя не любят родители.

Вечером объявили штормовое предупреждение. Море, почувствовав мое настроение, швыряло волны на усталую гальку. Хотелось, чтобы они били ее до изнеможения, до крови на холодном камне, до гипогликемической дрожи, эту дуру-Гальку!

Утром я выглянула в окно, всматриваясь в темнеющую дымку, нависшую над морем. Сквозь плотные тучи пробивались робкие лучи света, но шторм не утихал. По громкой связи радио то и дело передавало сводки метеорологов, а плакаты вдоль береговой линии твердили, что купаться запрещено.

Мама осталась в номере, а я соврала, что пройдусь по дорожкам сада. На самом деле, я точно не знала, куда пойду. Мне просто необходимо было остановить внутренний диалог с отцом, заставить, наконец, разум замолчать.

В воздухе стоял дурманящий аромат можжевельника. Я шагала, сверля взглядом свои сандалии, и невесело прикидывала, как провести остаток отпуска, а заодно и остаток жизни. Детство закончилось так внезапно и порывисто, как бывает, когда острые кошачьи когти разрезают нежную кожу, и наружу из ранки проступает алая кровь, принося с собой страх и боль.

Ноги сами привели меня к морю.

Я смотрела на него и усмехалась, кто кого?

В тот момент мне было не страшно умереть. Я разделась и шагнула. Так просто.

Первая же волна сбила меня с ног. Я попыталась подняться, но ноги скользили по гальке, которая впивалась в уязвимые мягкие ступни. Вторая крупная волна накрыла меня с головой и подгребла под себя, унося вглубь моря.

Дальше я уже не могла сосчитать количество волн. Меня крутило под водой, камни сыпались градом на мое тело и голову, и я перестала различать, где небо, а где земля.

В такие минуты отчаянно хочется жить. Хотя мгновение назад смерть казалась не страшна.

Наша схватка продолжалась, наверное, минут десять, а мне чудилось, что прошла целая вечность. Я на долю секунды выныривала, успевая схватить чуть-чуть воздуха, и снова погружалась в болтанку.

Обессилев вконец, я продолжала барахтаться в водовороте. Сдаваться отчаянно не хотелось. Наверное, море сжалилось надо мной, слегка ослабив смертельную хватку и дав мне возможность совершить решительный рывок.

На коленях я уползала от подступающей мощной волны. Наглотавшись воды и разбив колени в кровь, я упала на равнодушные камни. Галька на гальке, какая ирония! Но я не была холодна, как они. В моей душе теплился огонек и желание жить. Несмотря ни на что, невзирая на психологические драмы детства. Жить, по-прежнему ведя внутренние диалоги с отцом, и доказывая, что я имею на это право.

С тех пор прошло немало лет, а я по-прежнему всегда сажусь на последний ряд в автобусе. Возможно, чтобы когда-нибудь снова увидеть татуировку кошки.

**«Я люблю тебя, дочка…»**

Говорят, все конфликты с родителями заканчиваются, когда родители умирают. «Нет человека – нет проблемы», - утверждают психологи.

А я не верю.

Я даже не знаю, жив сейчас мой отец или нет.

Вряд ли мне сообщат, когда его не станет в живых.

А если он и жив, то едва ли ему интересно, что он стал дедом, что его внучка как две капли воды похожа на меня, а значит, и на него.

В детстве мама всегда твердила, что я «вся в отца», и звучало это вовсе не как комплимент, а, скорее, как оскорбление. Плохой муж, никчемный отец, да и в целом человек так себе. Но я-то считаю себя хорошим человеком. Вообще это противоестественно думать, что ты урод.

Мне нужно было как-то прояснить этот момент. И знаете, что я сделала? Я совершила ужасный поступок. Наверное, вы решите, что я и впрямь чудовище.

Я подала на отца иск.

Да, я пошла в суд и написала заявление. Я истец, он ответчик.

По закону мне причитались алименты. Но мне нужны были вовсе не деньги.

Я хотела еще раз увидеть папу, услышать его речь, понаблюдать за повадками. Ведь я же его копия? По крайней мере, мама так всегда говорила.

Разве я не имею права встретиться с ним еще раз?

Он был крайне раздражен, взбешен моей выходкой. В зал суда он явился с адвокатом, поэтому голоса отца я практически не слышала. Только когда он не выдержал и пустился поливать грязью мою семью. Меня он назвал мошенницей и лгуньей.

Я допускаю, что в нем в тот момент кипели эмоции. Меня это не задело. Я смотрела в его глаза. Они мне показались добрыми, даже несколько наивными, несмотря на то, что его рот извергал оскорбления в адрес мамы, потом и бабушки. Когда он добрался до дедушки, я заплакала.

Для меня это святое. Дедушка всегда был главным мужчиной в моей жизни. И таким останется навсегда. Именно он помешал совершить маме ошибку, когда отец был против моего появления на свет. Дедушка настоял на том, что я должна родиться, и своей жизнью я обязана ему. Он заменил мне отца, стал для меня таким необходимым мужским плечом, стержнем семьи.

Я не могла унять истерику. Всхлипывания с новой силой разрывали мне грудь. Образ воинствующей амазонки рухнул. Отцу пригрозили, что выведут его из зала суда, если он снова позволит себе подобные высказывания.

Заседание продолжалось. Отец молчал, его адвокат был на высоте, мама сверлила взглядом трещину на стене, а я все думала, чем же я так похожа на отца, как уверяла мама?

Украдкой я взглянула на него еще несколько раз. Странно, что у меня не было к нему ненависти. Это было бы логично. Но нет. Только сожаление, что он никогда мне не скажет: «Я люблю тебя, дочка».

Можно сколько угодно слышать слова любви от других людей, но почему они настолько ценны, когда их произносят родители? Почему мы ждем, что именно родители скажут: «Я горжусь тобой»?

Я всю жизнь ждала одобрения от самого близкого человека. Не папы, но мамы. И всегда находились какие-то несовершенства, на которые мне следует обратить внимание, недостатки, скверный характер. Подразумевалось, что, конечно, мама меня любит, это само собой разумеется, но я не слышала «люблю».

Вся моя жизнь превратилась в гонку за этим словом. Добиваясь все новых и новых высот, уважения, признания общества, я ждала звонка от нее с одной-единственной фразой. А в итоге так и не дождалась.

Судебный процесс я выиграла. Адвокат пожал мне на прощание руку, сказал, что я молодец. Отец молча прошел мимо, не взглянув на меня в последний раз. И, конечно, обошелся без реплик. Все, что он хотел, сказал еще в зале суда.

Теперь я уже точно знала, что этот раз – последний. Больше не было ни поводов, ни причин для встречи. Все точки над всеми «И» были расставлены. И все же я отправила отцу открытку на Новый год. Ответа не было.

Раньше я думала, что взрослые люди ужасно умные. Что их не мучают те проблемы, что не дают покоя подросткам, что они с легкостью справляются с жизненными неурядицами, и на все вопросы знают ответ.

Но оказывается, что и в тридцать, и в сорок, и в пятьдесят они остаются все теми же детьми, которые иногда хотят забиться в угол, прижав к груди любимую игрушку, и крепко-крепко зажмуриться. И только память о материнской ласке может спасти в такие моменты.

Я сейчас сама мама. И я по сотне раз на дню говорю своей дочери: «Я люблю тебя. Я люблю тебя. Я люблю тебя, слышишь, Ярослава? Ты самая красивая, умная и талантливая девочка на всей планете, и не верь никому, кто скажет, что это не так. Даже мне, ведь иногда я тоже теряю контроль над собой».

А сколько их - колючих «синих кошек» со вздыбленной шерстью и испуганными глазами, как та корявая татуировка на ладони отца. Эти «синие кошки» всю жизнь бродят по земле и никак не могут обрести покой, потому что нет того дома, где их приласкает мать.

А дом есть, просто впустите в него любовь. Не бойтесь этого чувства!

# Билетик в жизнь

Таня стояла на трамвайной остановке, натянув повыше воротник своего старенького пуховика. Рядом с ней переминались с ноги на ногу еще несколько ожидающих. Один из них, мужчина лет пятидесяти с объемной пушистой шапкой-ушанкой на голове, то и дело выскакивал на трамвайные рельсы, вглядываясь в заснеженный горизонт.

Другая, совсем еще юная девчушка в капроновых колготках и с ярким, отнюдь не дневным макияжем, мерила остановку шагами. Ее белые сапожки из искусственной кожи впивались каблучками в толстую корку спрессованного снега.

- Похоже, весна к нам не торопится, - хмыкнул мужчина в ушанке.

Девица невесело улыбнулась:

- Это пипец! Офигеть просто, какая холодрыга!

- Вот-вот, пипец, - повторил мужик, хотя его лексикон подсказывал совсем другое слово. Все засмеялись. Засмеялась и Таня, несмотря на то, что ее настроение с утра тоже уже успело понизиться до отметки «ниже плинтуса» или иными словами «полный пипец».

Еще одна дамочка, облаченная в норковую шубу, без умолку болтала по телефону. Было ясно, что на другом конце Мася, и что ему не поздоровится, если он сию же секунду не бросит все свои дела и не приедет на эту трамвайную остановку. Хорошо, что у Тани воротник закрывал пол-лица, потому что она вполголоса хихикала, невольно подслушав чужой разговор. Ей даже хотелось, чтобы этот загадочный Мася приехал. Вот бы была потеха!

Сама же Таня никогда не мечтала облачиться в роскошные меха, как не мечтала ни об автомобиле, ни о квартире в центре города. Словом, все эти штампованные замашки девчонок, что мечтают поскорее выскочить замуж, были ей чужды. Не об этом она мечтала. И не об этом плакала последние два года жизни в подушку.

Подошедший трамвай прервал ее мысли тугим скрипом.

- Седьмой, - Таня выругалась вполголоса.

Во-первых, транспорт ей не подходил, во-вторых, она никогда не узнает, как выглядит брутал-Мася. И все же она поднялась по ступеням, - очень уж замерзли ноги. Все, кто вместе с ней мерзли на остановке, тоже поднялись в полупустой вагон. Волна студентов и рабочих уже схлынула, и в трамвае, хаотично заняв кресла, ехали лишь несколько бабушек, у которых даже в неистовую февральскую стужу обнаружились важные дела.

Таня плюхнулась на сидение у окна, нахохлившись и вжав подбородок в шею, как промерзший воробей.

Да-да, так ее мама ей и сказала на днях: «Что у тебя, лебединая шейка?»

Оказывается, мама была права, шейка и впрямь не лебединая. Но ведь берут же в театр и кривозубых, и даже шепелявых! Что там, шейка!

Таня отвернулась к окну, вытирая рукавом так не вовремя подступившую слезу.

- Проезд оплачиваем!

По салону вальяжно передвигалась кондуктор. Сказать, что в ней присутствовали лишние килограммы, значит, ничего не сказать. Эффект ветчины прослеживался даже сквозь оранжевую жилетку, надетую поверх куртки.

Сейчас трамвай был почти пуст, и можно было болтаться от одного сидения к другому по диагонали, прикрикивая на сонных пассажиров. А когда народу в вагоне набивалось столько, что держались они исключительно за счет эффекта сдавливания, кондуктор по обыкновению горланила: «Так! За проезд передаем, а то щас встану!»

Это было действительно страшно.

- У вас что? – голос кондуктора влетел в Танино ухо, и она, не глядя, сунула в раскрытую ладонь пригоршню заранее приготовленных монет.

Кондуктор вяло пересчитала мелочь и бросила ее на дно сумки, оторвала билетик и сунула его в Танину ладонь.

С минуту Таня разглядывала билет, силясь сосчитать цифры. Их там шесть. Если сумма первых трех и вторых совпадет, значит, можно загадывать желание. Тут и думать нечего, желание у нее наготове. Только вот цифры она никак не могла сосчитать. «Да и что считать! Понятно, что я опять в пролете!», - она смяла билет и сунула его в карман.

Таня любила удачу, всегда пыталась ее заманить в свою жизнь; а вот удача не особо любила Таню. Ей не везло ни в лотерею, ни в «камень-ножницы-бумагу». Только один раз в жизни ей попался счастливый билет, да и то, когда она на радостях его съела, на следующей остановке вошел контролер, и Тане пришлось заплатить штраф за безбилетный проезд.

А сегодня удача была бы Тане очень кстати, когда она вышла на площадку с заготовленным монологом.

Да, надо же было так провалиться!

Она готовилась к этому прослушиванию не один день, все зубрила, репетировала перед зеркалом, даже на камеру себя сняла.

И что же? Стоило ей только выйти на сцену, как в голове, подобно отбойному молотку, застучали мамины слова: «Тебе никогда не получить роль! Ты думаешь, что у тебя есть талант? С чего ты это решила? Оставь-ка лучше свои детские мечты и иди работать на завод!»

Раскаленная кровь пульсировала в глазных сосудах, заливая роговицу густым туманом. Таня перестала видеть оператора, членов комиссии, перестала слышать сама себя, в ее ушах звенело мамино контральто: «Ты ни рубля в своей жизни не заработаешь!»

Таня не помнила, как закончила, как, споткнувшись на ступенях, едва не упала со сцены, как дошла на негнущихся ногах до трамвайной остановки.

Они сказали, что позвонят.

Они ей не позвонят.

Не предложат роль.

Не опровергнут слова мамы.

Всю жизнь Таня только и делала, что жила по указке мамы. Школу окончила с золотой медалью, на танцы не ходила, с мальчиками не дружила. Даже институт для Тани выбирала мама. Она мечтала, что дочь, получившая диплом экономиста, станет перспективным сотрудником на заводе, будет прилично зарабатывать и, конечно, найдет достойного кандидата в мужья. У них будет тихая спокойная семья, а потом они сделают ее бабушкой. Так маме виделась идеальная жизнь дочери.

Институт Таня окончила, но что-то пошло не так. Был какой-то просчет в маминых планах. Наверное, потому что это были ее мечты, а не Танины. В конечном итоге, как можно мечтать за других? И как можно злиться на другого человека, что он живет не так, как хочешь этого ты? Но мама ведь умнее, она жизнь прожила и многое знает. Конечно, ей виднее, что для дочери лучше! В глубине души она даже немного злорадствовала, когда сбывались ее пророчества: еще ни рубля дочка самостоятельно не заработала.

Таня кинула беглый взгляд на задремавшую размалеванную девицу, клюющую носом в такт размеренному постукиванию колес. «Спящая красавица», - усмехнулась Таня, - «вот откуда она средь бела дня в таком прикиде едет?» Таня отвела взгляд, а потом снова исподлобья взглянула на попутчицу, сурово сдвинув брови: «Кажется, еще чуть-чуть, и мне придется спросить у нее телефон работодателя!»

Ну, не могла Таня устроиться экономистом. Не могла, и все тут! Отправляла резюме, несколько раз ходила на собеседования, один раз даже недельную стажировку прошла. По этому поводу она каждый день облачалась в блузку и юбку-карандаш. И все не могла понять, отчего ей так тесно, тошно, то ли от одежды, то ли от бесконечных цифр на бумаге, которые сливаются в один нескончаемый штрих-код.

Танино лицо передернуло. Предать свою мечту для нее было хуже, чем проституция.

Естественно, такие мысли – это издержки юношеского максимализма, но ведь именно поэтому молодежь добивается успеха. Там где зрелые люди долго соображают, что к чему, оценивают степень риска, сомневаются, молодые с головой кидаются в омут нового неизведанного опыта, и побеждают.

Все свободное время Таня обивала пороги кастинг-центров и продюсерских кабинетов. Благо дело, сейчас их развелось достаточно. Все, что от тебя требуется, талант. Так они говорят, но когда ты туда приходишь, выясняется, что неплохо было бы иметь портфолио. А у Тани был только красный диплом экономиста. Здесь он ей был не помощник.

Недавно она размечталась: «Вот бы так сыграть, чтобы все ахнули и забыли про портфолио и опыт съемок. И сразу пригласили ее на главную роль в новом сериале, и выплатили гонор!»

Тогда бы мама никогда больше не сказала ей…

А, впрочем, сказала бы. Ведь она всегда чем-то недовольна. Наверное, даже если Тане вручили бы «Оскара» за лучшую женскую роль, мама бы скептически сдвинула брови: «Ну и что? Думаешь, это большое достижение? Зато ты на заводе ни дня не проработала!»

От этой мысли Таня немного развеселилась. Но, бросив печальный взгляд в окно, она поняла, что пора выходить, - трамвай все дальше увозил ее от дома. Ноги немного согрелись, и теперь им снова придется заступить на ледяной пост новой трамвайной остановки.

Таня встала со своего места, расправляя затекшие плечи, и направилась к выходу, опрометчиво не держась за поручни.

Вдруг с лязгом заскрипели тормоза, что-то нечленораздельное успела крикнуть женщина-водитель. Сигналы клаксона разрезали монотонный шум города. Вагон, трясясь, заходил из стороны в сторону, словно хотел сойти с рельсов.

Таню по инерции потащило вперед. Кондукторша, от испуга ли, или попросту не желая быть участником столкновения, отпрыгнула в сторону. Таня протаранила головой кабину водителя.

Дальше она уже ничего не помнила. Она потеряла сознание.

Со всех сторон послышались крики, причитания, вздохи. Люди засуетились, забегали по вагону, вспоминали то про Бога, то про давление.

Таня не могла всего этого видеть, она лежала на истоптанном холодном полу трамвая. Такая хрупкая, маленькая девочка. С ее головы слетела шапка, а из раны на лице сочилась кровь.

Вокруг собрались Танины попутчики: и мужик в шапке-ушанке, который, уже не стесняясь, называл вещи своими именами, и размалеванная девица, которая первой сообразила позвонить в неотложку, и подруга Маси, которая истошно кричала: «Только не умирай! Только не умирай, пожалуйста!»

Никто не решался прикоснуться к Тане, пока не приехала «Скорая».

Ее уложили на каталку и вынесли на морозный воздух, погрузили в машину и включили сирену.

Уже в машине у Тани остановилось сердце. Доктора констатировали клиническую смерть, они пытались оживить ее дефибриллятором, что-то вкалывали, кричали «разряд!».

А она видела такие прелестные перламутровые розовые облака и чувствовала такую легкость. Она парила над своим телом, глядя на него сверху вниз, и не могла понять, чего эти врачи так суетятся. Ох, если бы они только знали, как ей хорошо, как замечательно! Если бы они только могли почувствовать то же, что она чувствует, понять, как это здорово – парить в облаках, улыбаться, чувствовать себя счастливой.

Это перекошенное лицо девушки выглядело таким несчастным. Зачем оно ей нужно, когда она ощущает всеобъемлющее счастье? Теперь она свободна, свободна, свободна!

Таню будто покинула многодневная усталость, словно оборвался, наконец, напряженный зудящий нерв.

И вдруг Таня вспомнила про маму: «Как же она одна останется на свете? У нее ведь кроме меня нет никого!»

Эйфория разом прошла. Таню начало закручивать, засасывать обратно в тело бледной девушки. Это такие ощущения, как когда из отверстия в ванной вынимаешь пробку, и вся вода устремляется в эту маленькую дырочку. Так же было и с Таниной душой. Наверно, это все же была ее душа.

Исчез волшебный яркий свет, испарились облака, стихла музыка.

Когда Таня открыла глаза, у ее изголовья сидела мама. Увидев, что дочь очнулась, мама ничего не сказала, только тихо заплакала.

Таня не знала, что провела без сознания 24 дня. И что все это время мама была рядом, молилась и просила Бога, чтобы он простил ей ошибки и не забирал дочь.

- Ты прости меня, мам, - прохрипела Таня, облизывая пересохшие губы. – Дочь из меня никудышная.

- Что ты! Танечка, это ты меня прости, - мама не смогла договорить, она снова заплакала.

Теперь Таня знала, что мама ее любит, только выразить свою любовь у нее не всегда получается. Мама лишь хотела уберечь дочь от ошибок, предостеречь от разочарований, но забыла, что у каждого в жизни свой путь.

- А это что еще за цветы? – Таня указала взглядом на букет из алых роз, стоящий на тумбочке.

- Это тот парень, из-за которого ДТП произошло, прислал. Каждую неделю шлет, ага. И звонит, справляется о твоем здоровье.

- Так или иначе, а мечты сбываются, - хихикнула Таня. - Я ведь мечтала, чтобы мужчина мне цветы дарил. Забыла только уточнить, при каких обстоятельствах. И похудеть мечтала, вуаля!

Таня приподняла простыню, обнажая скелет, обтянутый сухой дряблой кожей.

- С такой фигурой майонез нельзя рекламировать, - заверила мама. – Срочно нужно отъедаться!

- Ты о чем это?

- А я не сказала? Ох, садовая голова. Тебе же звонили! Да-да, несколько раз. На съемки приглашают, ага. Майонез рекламировать.

Свой первый гонорар Таня потратила на билет в театр для мамы, с которой с тех пор они стали лучшими подругами. А тот самый трамвайный билетик оказался несчастливым. Спустя полгода Таня обнаружила его в кармане пуховика и все же решила сосчитать на нем цифры, но пришлось прибегнуть к помощи калькулятора.

Экономист-краснодипломник, тоже мне!